

# П

орадуйтесь, уважаемые читатели, вместе со мной: у Василия Килякова вышла книга «Посылка из Америки»!<sup>1</sup>

Вы спросите, к чему это восклицание?

Оно, возможно, выглядит перехлестом, — даже если уточнить, что Киляков немолод, а книга эта — первая. Ведь порой тяга к сочинительству начинает одолевать человека уже в годы зрелые, а иногда даже — одновременно с получением пенсионной книжки...

Но в том-то и дело, что как писатель В. Киляков заявил о себе давно, в молодые свои годы, в последнее десятилетие существования советской державы. И заявил ярко. Последовали весомые, заметные публикации, причем случились они в журналах враждующих между собой литературных лагерей: «Юность», «Октябрь», «Новый мир» (так называемое либеральное крыло) — и «Молодая гвардия», «Наш современник» (крыло патриотическое). Неоднозначность ситуации подчеркивали и полученные В. Киляковым литературные награды: с одной стороны, премии имени Бориса Полевого и радиостанции «Немецкая волна», с другой — премия Союза писателей России «Традиция», премия имени А. Платонова

---

<sup>1</sup> Киляков В.В. Посылка из Америки: рассказы, повести. — М. — ИПО «У Никитских ворот», 2018. — 552 с.

ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ  
ПОСЫЛКА  
из Америки

рассказы  
и повести

«Умное сердце». Создается такое впечатление, что В. Киялкова каждый из этих лагерей рад был привлечь на свою сторону — но разве возможно такое в отношении человека бесталанного, заурядного?

А если положить на весы учебу в Литературном институте имени А.М. Горького в семинаре Михаила Петровича Лобанова, добрые отклики не склонного к дежурным комплиментам мастера и других преподавателей института, то вывод можно сделать только один: Василия Киялкова ждет счастливая литературная будущность. Она и начала сбываться: чередой пошли публикации в центральных и региональных журналах, в электронных СМИ. И вот... Прошло, как пишут в сказках, «тридцать лет и три года», и у Василия Киялкова вышла первая книга! Правда, время минуло отнюдь не сказочное — во всех смыслах. Вместе со временем минула, канула в вечность великая страна — Союз Советских Социалистических Республик. Да и сам писатель, выправкой статью все тот же былинный богатырь из доб-

рой русской сказки, отнюдь не помолодел. Так что же теперь нам (и писателю) — бить в барабаны и палить из пушек в знак славной литературной виктории или посыпать голову пеплом несбывшихся надежд?

Такое непростое переплетение литературно-биографических и исторических реалий просто обязывает меня, отложив в сторону инструментарий строгого, застегнутого на все пуговицы рецензента, обратиться к вольному жанру литературных заметок. Жанр этот допускает (и даже предполагает) разговор не только о текстах, но и об авторе этих текстов. С автора и начнем.

Итак, кто же он такой, Василий Киялков, человек и писатель? Мы ведь с вами, уважаемые читатели, его в глаза не видели — как о том проведаем, как узнаем? А узнать то просто. Достаточно, перевернув тяжелую обложку книги, войти в прозу В. Киялкова как в дом — не иноземцем в поисках русской экзотики, не сыто позевывающим туристом, не праздным соглядатаем, но — путником, ищущим надежды, справедливости, душевного отклика. И вот уже — в эссе «Благочестивому читателю» — не его разве, не автора книги именно к нам обращенный голос слышится?

*«О себе: я самый бедный человек, у меня ничего нет, и самый богатый, мне ничего не надо. Когда я пишу, я нахожу для себя и для души своей какой-то посошок, костылик, сопутствующий движению и очищению. И тогда каждый человек, на которого я смотрю, становится моим другом и учителем.»*

Тут же из первых уст мы узнаем, что душу и сердце писателя давно уже «захватила в объятия» книга мало кому известного ныне Иогана Мосха «Лут духовный», где главной жизненной ценностью провозглашено «стремление к Богу и высшему нравственному совершенству».

И если мы будем доброжелательны и деликатны, страницы книги расскажут нам, что православный христианин Василий Киялков укоренен в вере давно и крепко, живет с Богом в душе. И в то же время, как бы в укор воинствующим религиозным догматам, читает не только Жития святых, но и Льва Толстого, который для него — «величайший знаток русской души, русского характера». Но отнюдь не поверхностно истолкованным «толстовством» навеяны размышления В. Киялкова о крайности сла-

вянской души, которые проявляются не только в делах мирских, но и в религии: «Уж если украшать храмы, то не иначе как серебром, золотом, так, чтобы нищие телом и духом молились иконам в серебряных или золотых окладах, а кресты самые убедительные золотые. Но зачем Богу золото? Золото — ценность для вора. Богу же что золото, что песок. Ценность — вера».

Разве это вызов, ересь, кощунство? Нет и нет. Горькие, честные, так и тянет сказать — золотые слова. Но я удержусь, не стану ставить исповедальное слово русского писателя рядом с «ценностью для вора».

Совестливость, стремление к справедливости усвоены Василием Киляковым, как иногдо говорят, на генетическом уровне. Детство, проведенное в рязанской деревне, разговоры и поступки близких людей и односельчан, нелегкое «житие» земляков — все это оставило в душе будущего писателя неизгладимый след, опалило и закалило его, предопределив трудную дорогу-судьбу — и жизненную, и литературную. Потому что перед глазами В.Килякова с детских лет стояла не «картина маслом» официозного отображения действительности, а сама жизнь — не приукрашенная, не слишком сытая, грубоватая, полная утеснений и лишений. За литературным материалом не нужно было далеко идти. Дед Терентий, герой многих рассказов В.Килякова — и, замечу попутно, нравственный авторитет, своего рода камертон нефальшивого произнесения слова «народ» — фронтовик, однако он был в плену. Его не посадили, но... «Деда Терентия таскали в районное энкавэдэ, спрашивали все одно и то же: как попал в плен, где был в плену, кто освободил и как...

— ...Как росла пень, весна, так идти в Сасово, — рассказывал дед мужикам. — Затаскали!.. Ни обуви, ни одевки сроду крепкой не было, а пень идти за двадцать километров по грязи, не шутка...

Из рассказов деда я запомнил, что были случаи, когда таскали на допросы с ранней весны и до поздней осени» (рассказ «Кризис»).

Из этого, казалось бы, частного, семейного жизненного «сора» — откровений деда и его сверстников в разговорах застольных и обыденных (естественно, переосмысленных, «прожитых» самим автором) — выросли рассказы В.Килякова «Знак», «Письмо Сталину», «Кризис», «Пленные». Да и, пожалуй, хоть и не впрямую — «Посылка из Америки», где бабка Марфа, глядя на висящий на стене в горнице коврик с полунагой индианкой, со слезами рассказывает о своем муже Мите, пропавшем на войне, а потом, во времена «оттепели», вдруг написавшем ей письмо, приславшем посылку с подарками из-за океана. При чтении этого рассказа запомнилась мне крепко одна строка: «В последнем письме Дмитрий Попов проклинал войну и чужбину». Чужбина здесь стоит в одном ряду с войной — и сравнение это вовсе не выбивается из контекста...

Рассказ «Знак» важен для понимания прозы В. Килякова по двум причинам. Во-первых, в нем внук (будущий автор книги) впервые узнал, что дед Терентий был в плену клеймен. Да, речь идет именно о клейме, а не о номере, который выкалывали тушью на руке узникам фашистских концлагерей. Жутковатая подробность, особенно если учесть, что в русских селах и скотину-то клеймить не принято было — жалко.

До того памятного случая дед никому о клейме не говорил, даже своей жене. И вот разговорчатый застольный разговор с избежавшим фронта односельчанином Кузьмой Комковым, он не только сказал об этом прилюдно, но и показал клеймо. И заплакал. Все были ошарашены: и Комков, и двое участвовавших в застолье фронтовиков-инвалидов, и бабка, и внук. «Все это запомнилось зримо: и еле заметный уголок на левой ягодице деда, и угрюмый инвалид с оборванной кистью, и деревянный протез хромого с резиновой набивкой снизу...» Эта горькая «картинка», вроде бы обыденная, «не страшная», обнажила перед внуком трагедию — и близкого человека, и опаленного войной поколения, и ценой страшных жертв избежавшей рабства и угасания страны.

Во-вторых, в рассказе этом впервые «материализовался», явил себя отнюдь не эпизодический, а поистине знаковый персонаж — Кузьма Лукич Комков. Высокий, сутулый, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза, пронзительная улыбка... Явил не только, так сказать, визуально, но и мировоззренчески: «А меня бог миловал, — весело, смеясь, говорил дед Кузьма, как бы нарочно хвалясь: какой же он хитрый, умный, лучше всех из Выселок. — Бог миловал. Спасибо, я мужик такой ловкий...»

Сказано это было Кузьмой Комковым по поводу фронта, но потом оказывается, что — нет, бери выше, по поводу жизни. И мы, прочитав «Знак» и другие рассказы (например «Кризис», где дед Кузьма еще мелькнет-покажется), без долгих раздумий «героя» этого заклеймим ловчилой и приспособленцем, жалкой пародией на русского человека — чтобы потом, читая повесть «Последние», засомневаться и, может быть, корить себя за поспешность...

Как писатель В. Киляков «вышел из деревни», но проза его разнопланова, деревенскими темами она не исчерпывается. Глубок, психологически точно мотивирован рассказ «Божья шишечка» — что-то вроде исповеди благополучного чиновника, разбогатевшего в годы «прихватизаций», но страдающего от «никому ненужности». Она очень странная, эта исповедь — не покаяние, а скорее обида-жалоба: дескать, как же так, я умен, образован, удачлив в делах, даже хобби имею не абы какое — пейзажи пишу на досуге, а всем чужой. Страдалец, одним словом. Но почему-то не тянется рука его пожалеть...

В рассказе «Дочь Севера» автор так вживается в свое повествование, настолько убедителен в деталях (в том числе весьма специфических — службы на подводной лодке), что кажется: мичман Стыров — это он и есть, Василий Киляков; и именно его когда-то спасла, вытащила из промоины корячка Кытна; и выходила, и приворожила навсегда — к себе и к Северу. Читая рассказ, даже позавидуешь по-доброму: надо же, как повезло парню.

А вот совсем другой сюжет: Чеченская война, казарма под Бамутом. Погиб солдат по вине командира, майора Канюки, и начальство старается до приезда матери погибшего этот эпизод, что называется, замять, свидетеля гибели, младшего сержанта Елдакова, уже «уговорили». Все это не нравится старослужащему Каюмову. И он, за свою строптивость стоящий третьи сутки «на тумбочке», смотрит на трусливую суету спасающих свои за... заслуги «отцов-командиров». И думает. Думает зло, судит жестоко: «Давали присягу служить народу — и стреляли из пушек по избранныкам этого народа; давали присягу служить Союзу нерушимому республик свободных — и разбежались. И любую другую присягу примут, лишь бы до пенсии дотянуть». Он раздражен, он измотан, этот упертый солдат, он скоро повалится в проход между койками и заснет мертвым сном — не потому ли у него такие черные мысли? Ведь ясно же, что не во всем он прав в своих суждениях. Но мне, читателю, не хочется его опровергать, не хочется с ним спорить (рассказ «Несгибаемый Каюмов»).

В рассказе «Маг» собеседником автора становится случайный попутчик, старый военный, едущий в госпиталь. Во хмелю он признается, что служил в войсках НКВД (МГБ), расстреливал преступников («Ой, как они кричали...»). Автор смотрит на него «со страхом и недоверием», слушая такие, например, подробности: «Убивали и сжигали ночью, чтобы не было видно дыма». Возможно, что кто-то из вас, уважаемые читатели, посмотрит на автора этого «гулаговского» рассказа так же, как тот смотрел на своего собеседника — «со страхом и недоверием». Мне и самому порой становится не по себе, когда мои коллеги и единомышленники, талантливые писатели-патриоты, взыскуя исторической справедливости, уж очень настойчиво обличают художественным словом «ужасы сталинизма», — будто оправдывая тем самым двурушников и лицемеров, отрекшихся в переломный час от возраставшей их страны. Грань,

отделяющая субъективную литературную интерпретацию исторических реалий от искажения суровой жизненной правды пытающегося выстоять во враждебном окружении первого пролетарского государства, очень тонка. Но в любом случае — разве имеем мы право в таких случаях закрывать глаза, затыкать уши, по-страусиному прятать голову в песок? Думаю, нет. Мы должны выслушать всех, кто искренне пытается доискаться истины, — чтобы осмыслить все сказанное честно и непредвзято.

И все же, несмотря на широту авторского взгляда, главной темой творчества Василия Килякова является жизнь русской деревни. Реже — прежней, «доперестроечной» (рассказ «Стегней и Варька»), чаще — уже подкошенной «реформами», слабеющей, уходящей (рассказы «Неугомонный», «Капитал», «Пленные», «О, кей!», «Товарищи», повесть «Родное пепелище»). Все они заслуживают внимания, но говорить о них подробно не позволяют рамки моего «легучего» читательского отклика. К тому же в книгу включено еще одно — очень важное, я бы даже сказал — этапное «деревенское» произведение, не сказать о котором просто нельзя. Я о нем уже упоминал выше, говоря о «сквозном» герое книги Кузьме Комкове...

Зачин повести «Последние» типичен для социальной прозы постсоветских лет. Герой, в девяностые годы потерявший страну и надежду на возвращение прежней жизни, вынужден, спасая семью от голода, уйти в охрану — «то есть фактически в рабство».

Губительность этого шага он хорошо понимает: «Так вот именно то, что я больше всего презирал в жизни, даже ненавидал, именно это и стало и судьбой, и настоящей профессией». Он, герой, пытается как-то себя оправдать (в этом он похож на многих, да и на нас с вами, разве нет?), но... «Только вот в душе появились, свили гнездо мрачный неуют и дерзкое недовольство, которые и подсказывали, что дело еще и в том, что каждый из нас с девяностых стал немного предателем и немного дезертиром, подчинившись вопиющей этой несправедливости».

Он, герой, вконец замордованный «объектом» — взбалмошной и капризной бабенкой, владелицей некоего ЗАО, — мечтает о покое, о лесном снежном чертоге в глуши — родной деревушке под Рязанью. Где он мог бы охотиться в одиночестве — и наконец-то разобраться не только в собственных мыслях и чувствах, но и «в накопленном ворохе рукописей». Да, герой повествования еще и «по совместительству» писатель. В начале повести это обозначено пунктиром, но читателю ясно дано понять, что этот сюжетный узелок завязан неспроста.

Так оно и выходит.

«Замысливший побег» герой, чудом выбив отпуск сразу за два года, уезжает в деревню, где прошло его детство, где жили и ушли в мир иной его бабка с дедом: «Деревня эта казалась самым реальным, подлинным местом, именно и только тем местом, где стоило жить. И даже более того: имело смысл и было ради чего жить».

И что же он видит?

«...Две старухи и старик — все, что осталось от жителей Выселок. Святочные метели замели подворья, задичавшие сады, пепелища, заброшенные избы...». Прошлого больше нет, оно осталось только в памяти. А что же в настоящем? Есть ли хоть что-то, за что можно зацепиться взгляду и сердцу?

*«Из окна я вижу густую зыбкую сетку неугомонной выюги. Гнетет одиночество, холод сковывает движения, стынут руки. Я откладываю вечное перо, черновики, и мрачные мысли накатывают волной: «Неужели так трудно пишут все?..»*

Тут, казалось бы, самое время явить себя ставшим уже привычными для современной «продвинутой» прозы рефлексии, болезненному «поток сознания», наловчившемуся размазывать собственное «я» по книжным страницам, как липкую кашу по тарелке. Однако этого почему-то не происходит. Нет, герой, конечно, переживает, но выход ищет не в плаксивом самокопании, а в судьбах людей, которые жили в этом

доме, на этой земле: «Надо вспомнить их сказания, надо сравнить пережитое и передуманное ими — с собой, со своей жизнью, со своим опытом. И унять, и вылечить больную душу».

Так появляются, наполняются глубинным смыслом и памятью-плотью понятия, без которых жизнь героя повести (и наша с вами жизнь, уважаемые читатели!) грозит превратиться в мшаву, в покрытую мхом зыбучую трясину: один неверный шаг — и нет ее, жизни, и следа ее нет, даже самого малого. А есть только пузырящаяся болотная жижа, ее смрадное дыхание.

Эти понятия просты, как посыпанный крупной солью ломоть ржаного хлеба.

Родина.

Родовая память.

Родовые корни — и ростки, идущие от этих корней, — после любого пала, после самых долгих снегов и жгучих стуж.

И вызревает в душе героя трудное чувство горького родства, ощущение соединенности, слитности с корневой этой жизнью — не только той, что врезалась в его детскую память, но и этой, нынешней, разоренной, затерянной в снегах, едва теплящейся. Это ощущение — вовсе не увеличительное стекло, которое помогает герою-писателю без проблем, как энтомологу в букашек, вглядываться в лица последних жителей родного угла — Елизаветы, Акулины и деда Кузьмы; нет, не увеличительное стекло, а боль, вина, подступающее к сердцу отчаяние. Но и спасительное для души невыстывающее тепло — сострадания и понимания, общего разговора, общего дела, одной нелегкой судьбы. Судьбы-сораспятия, по слову Богородицы, явившейся герою во сне — страшном, угарном, едва не ставшим последним...

А дальше в повести действие идет неторопко, как утренняя путник, проминающий след в глубоком ночном снегу. В поле читательского зрения снова появляется Кузьма Лукич Комков — непростой, как уже было сказано, персонаж, «сложный тип». Он не только расчищает дорожку перед крыльцом своего дома, но и много еще чего делает: учит героя нынешнему деревенскому «выживанию», вспоминает, балагурит-озорничает со старухами, пьет понемногу «очищенную», мастерит домовину, то бишь гроб — загодя, потому что некому потом будет — и не боится прилюдно обновку эту скорбную «примерять». Он, мягко говоря, не идеален, этот дед Кузьма. И в прошлом, где вроде бы только то и делал, что ловчил: от коллективизации сумел улизнуть в депо, работал золотарем, но ведь не за «палочки» колхозные, не голодал; на войну не попал по какой-то странной хвори, которая умела явить себя «во всей красе» аккуратно к началу очередной призывной медкомиссии. И в настоящем, когда он вместе с Сашкой (именно так зовут героя-повествователя, если кто не знает), в лаптях и годящемся только для огородного пугала полушубке, отправляется за провиантом в соседнюю деревню Сонино; и там, около осаждаемой народом автолавки, чтобы добыть этот самый провиант (хлеб уже кончается, а очередь велика), закатывает глаза, бьется в падучей — а потом, распояской, без шапки, топя лаптями, сыплет частушками, потешая осерчавших сельчан.

Сашке стыдно за это «позорище», но в то же время он хорошо понимает, что без этого представления Кузьма им пришлось бы возвращаться домой с пустыми руками. А ведь там ждут их, надеются на них люди, о которых некому больше позаботиться: Елизавета да едва передвигающая ноги Акулина. Вот и выходит, что «сложный тип» Кузьма Комков, всю жизнь бегавший от общественных забот и тягот, не о себе только думает. И вообще, он много чего такого делает, что явно выходит за пределы условного литературного «типажа». Например, откапывает занесенную снегом до окон избу Акулины. «Дай Бог тебе здоровья, Кузьма Лукич, — говорит Акулина, — в каждом деле ты нам первейший помощник, родной, то хлеба в сельмаге купишь, то дровец отрубишь, то водицы принесешь...»

Так кто же он на самом деле этот хитрован и ловчила дед Кузьма? Никак не может

герой повести Саша в этом разобратся. Зовет на помощь свидетельства подорванного здоровья на колхозной работе трактористки Зинаиды, доярки Акулины, ворошит былое, пытается вновь услышать голоса своих близких — деда Терентия, бабки Степаниды...

А рядом жизнь — такая, что горло перехватывает. И молодой писатель, наш современник, подобно летописцам былых времен, должен честно свидетельствовать о ней: «О эта нищенская одинокая старость в забытой богом и людьми деревне! Всякий раз, когда приходишь к Акулине, отворяешь дверь, проходишь в избу, чувствуешь тяжесть этого низкого потолка, который тяжелым вороном как бы слетает тебе на плечи... Чувствуешь тот застойный запах старой избы: здесь все пропитано духом старой овчины, духом валенок и золы, на которой отплясывал огонь уж дня три-четыре назад, и робкий свет сквозь косые, маленькие заледенелые окошки. Когда видишь, чувствуешь одинокую, всеми забытую душу, «ближнего», «по образу и подобию» — и вот умирающего в грязном тряпье, — внутренне содрогаешься, и весь белый свет кажется всего лишь обманом, ловушкой, а всякая радость на этой земле — иллюзией; видишь это исхудалое лицо, желто-восковое, стянутое сетью глубоких морщин, — и охватывает безотчетный ужас, наворачиваются слезы отчаянной беспомощности, сердце кажется чужим и в висках стучит молоточками...»

Так трудно себя пересилить — и так нужно, обязательно нужно это сделать!

И снести на руках обессилевшую бабушку Акулину с печи на лавку. Натаскать воды. И жить дальше: чистить снег, топить грубку, ужинать вскладчину вместе с последними жителями Выселок, писать книгу.

...А потом вместе с дедом Кузьмой делать крест отмучавшейся на белом свете бабушке Акулине, бить ломом промерзшую кладбищенскую землю. И, впрягшись в деревянные санки Кузьмы Комкова, ставшие похоронными дрогами, тащить гроб по снежной целине от дома Акулины до могилы. И — возвращаться в Москву. «Солнце погасло. Бескрайние барханы снегов, холодная мгла. И все сметала, змеилась по моим следам метель. Я оглянулся. Стариков уже не было видно».

Но не все, не все заметет метель, не все поглотит холодная мгла: «Все поднимались и опускались эти провода под скрип забирающего вправо вагона. Бесперывно кружились в хороводе поля, и я все думал: «Надо написать эту историю стариков, последних жителей деревни. Напишу, обязательно напишу...»

Он — написал. Да, он написал, смог. А мы — услышали?

По остроте социальной проблематики, по глубине исследования сельской жизни в переломные ее моменты (коллективизация, война, послевоенные разруха и голод), по языку — ненатужному, яркому, радующему не только сочным диалогом и к месту явленной озорной частушкой, но и незаемной поэтической образностью, — Василия Килякова можно поставить рядом сразу с несколькими выдающимися писателями-деревенщиками, и в первую очередь — с его тезкой Беловым. Внимательный исследователь творчества наверняка найдет то, что их роднит — и будет, конечно же, прав. А вот мне при чтении «Последних» почему-то вспомнилась повесть Валентина Григорьевича Распутина «Прощание с Матерой»: та же внутренняя дрожь, та же оторопь от того, что исчезает, расточается, уходит навсегда земля, на которой жили предки твои и ты сам родился и вырос. Разница только в том, что у В. Распутина речь идет о малой толике родной земли, ангарском острове, который — волевым решением «во благо всего советского народа» — уходит под воду при строительстве гидроэлектростанции. А Киляков повествует нам о времени, когда то ли небрежением, то ли недоброй волею разрушителей былой мощи страны «под воду» уходит не только «милая малая родина» героя повести, но и Родина с большой буквы. Затягивает ее поля и брошенные селения березняком-самосевом, сорным американским кленом, чернобылом, татарником — навсегда, безвозвратно. И если мы не услышим голоса, не

увидим глаза, не прикипим сердцем к судьбам «последних», брошенными деревянными садами станет засыхать и дичать наше самосознание, да и само понятие «отечество». И мы уйдем — и забудем дорогу; и даже если потом, через десятилетия, поймем, что наделали, — не сможем уже вернуться к себе. И это не просто горько — это страшно...

Есть такое выражение: «Хвататься за соломинку». Словарь говорит, что этот фразеологизм является усечением древней поговорки «Утопающий хватается и за соломинку», смысл которой предельно ясен: соломинка не спасет. Со словарем, конечно, спорить трудно, но и соглашаться не хочется: ну что она знает, эта древность, о русском человеке?! Да и соломинка соломинке рознь. Об этом глубоко и емко сказал поэт Алексей Решетов:

Не искал, где живется получше,  
Не молился чужим парусам:  
За морями телушка — полушка,  
Да невесело русским глазам!  
Может быть, и в живых я остался,  
И беда не накрыла волной,  
Оттого что упрямо хватался  
За соломинку с крыши родной.

Да, поэзия иррациональна, но как много в ней сходства с русской душой! И потому ей хочется верить.

Мы тонем, и писатель Василий Киляков, — не спастись пытаюсь, а спасти, это очень важно помнить! — упрямо хватается за соломинку. Эта соломинка — слово. Честное. Совестьливое. Болевое. Милосердное и страдающее, бесстрашное и молитвенное, сердцем, всей жизнью оплаченное — наше русское слово. А то, что книга у В.Килякова на нынешний день вышла только одна-единственная, так не ему это укор, а нам; к тому же — разве слово измеряется количеством книг?

Киляков писатель, а не мыльный пузырь с мудреным торгашеским наименованием «персональный издательский проект». Он пытается спасти для нас и будущих поколений то, без чего человеческая жизнь превращается в бессмысленное существование — родовые корни, родовую память, саму Родину. Да поможет ему в этом трудном деле Бог — и соломинка с крыши родной...

